

## В стране неволи.

Тридцать два года я живу сознательной жизнью мыслящего существа, тридцать два года я плыву по житейским волнам к далеко сияющему маяку социализма, и за это время мне пришлось пережить десять раз тюрьму, пять раз ссылку и, кажется, тридцать обысков: «кажется»—потому что точный счет их я потерял...

«Жизнь отживших неизменна», и прожитые годы дают право подвести итог тому, как меня обыскивали, арестовывали, выслали и судили, не потому, чтобы в этом было что-либо особенное или выдающееся, а потому, что в самой обыденности репрессий, в их повседневности и заключается ужас существования в стране неволи.

Начать приходится с весеннего дня 1893 года, когда во время урока истории в VIII классе Пермской гимназии в класс явился сторож и сказал директору гимназии:

— Барин, там жандармской приехал, чего-то вас спрашивает.

Директор тотчас же ушел, а мы, гимназисты, пошли по домам.

Живо помню этот весенний день, яркое весеннее солнце и веселые ручейки, бегущие по улицам... А мы, взволнованные и встревоженные, спешили по домам, условившись «прибраться», так как ни минуты не сомневались, что «жандармский» недаром приехал к директору, что его посещение стоит в связи с нашим поведением: на нашей совести лежало неясное, неоформленное стремление к знанию, которого нам не давала казенная школа, чтение «посторонних» книжек, беседы по поводу прочитанного и знакомство с «неблагонадежными» людьми, от которых мы получали эти «посторонние» книжки... Целый комплекс тяжких «политических» преступлений...

Мы не ошиблись, и вечером, когда я сидел в своей комнате, ко мне явился инспектор гимназии С. Я. Дроздов и произвел в моей комнате тщательный обыск. Добродушное, изрытое оспой лицо «запивохи»-инспектора было какое-то тупое и деревянное, руки его дрожали и только, когда ничего предосудительного («постороннего») у меня не оказалось, он вновь начал приобретать добродушно-человеческий вид,—как вдруг он заметил новенькую книжку: «Литература и Жизнь» Н. К. Михайловского. Эту книжку я читал и не счел

нужным прятать, так как о ней только что шла речь на уроках словесности. Я и не подозревал, что ее могут счесть «преступной», но инспектор, увидев ее, изменился в лице и укоризненно сказал: «Э-э-э-х! Вот это—лишнее!». Книга была им забрана с собой.

С этого времени я был взят на подозрение в отношении «неблагонадежности», и, по настоянию директора, мне была сбавлена отметка за поведение, что закрывало для меня двери университета: по правилам, туда не принимали с «хорошим» поведением в аттестате, требовалось «отличное». Но мне повезло. Как раз в этом году правила были изменены и главное внимание стали обращать на отзыв начальства гимназии, так называемую «характеристику» «Характеристику» же пришлось писать инспектору за отъездом директора на курорт, а у него рука не поднялась на отрицательный отзыв, и я попал в университет.

Мне удалось кончить университетский курс без столкновений с политической полицией. Дело ограничивалось тем, что за мною неотступно ходили сыщики, регистрируя каждый шаг и в Казани, и в Перми, и в Нижнем-Новгороде, где мне приходилось жить.

В 1897 году я, по окончании университетского курса, поселился в Перми и занялся адвокатурой. 2 ноября 1898 года я возвращался от городского судьи домой и вдруг, на углу Екатерининской и Оханской улиц, встретил едущего на лошади частного пристава Хлебарова. Поровнявшись со мной, он остановил лошадь, подбежал ко мне и пригласил меня ехать за собой, сообщив, что у меня «жандармы делают обыск». Пока мы ехали, я решил, что моя песенка спета: я знал, что в глазах жандармов моя репутация крайне неблагоприятна, знал, что жандармы давно искали случая привлечь меня к делу, а в это время как раз только что началось рабочее движение в Перми, и я волей судьбы был поставлен в центр этого движения. Мало того, я припомнил, что только накануне мы с товарищем И. П. Ладыжниковым спрятали у нас в квартире только что полученные четыре номера женевского «Социал-Демократа» и что у меня в складном стуле засунута нелегальная брошюрка для рабочих.

Дома я застал жандармского ротмистра фон-Оглио, товарища прокурора Сементовского и моего патрона-адвоката М. И. Нагавицына, приглашенного принять под охрану мои дела. Сразу стало ясно, что мой арест предreshен. Во время обыска фон-Оглио отозвал меня в сторону и показал мне телеграмму: «Обыскать, арестовать и препроводить в Казань помощника присяжного поверенного Владимира Николаевича Трапезникова. Полковник Марк».

Таким образом оказалось, что пермские жандармы производят обыск не по своей инициативе, а по предложению из Казани, где я не бывал с весны 1897 года. Значит, дело какое-то старое, значит, молодое рабочее движение в Перми пока не открыто. Это сразу подняло мое настроение, сразу стало радостно на душе, и все старания

свои я направил на то, чтобы не обнаружилось у меня ничего «явно-преступного», что могло бы бросить тень на мою теперешнюю работу.

Несколькими приемами мне удалось отвлечь внимание жандармов от стола, где был спрятан (в комнате Ладыжникова) «Социал-Демократ», от стула с брошюрой, на котором прочно сидел М. И. Нагавицын, и даже спрятать среди бумаг уже взятый и отложенный в сторону черновик моей корреспонденции в «Сын Отечества» об отказе рабочих железнодорожных мастерских жертвовать на блюдо для поднесения проезжавшему через Пермь министру путей сообщений кн. Хилкову (эта рукопись, конечно, могла бы послужить путеводной нитью для установления моей связи с рабочими).

«Явно-преступного» ничего не оказалось, жандармы забрали с собой целый тюк совершенно невинных рукописей и переписки, а меня до завтра отправили в острог («губернский тюремный замок»).

Как я потом узнал, осведомившись вечером о результате обыска и найдя в целости все то, что было у меня спрятано, мои друзья, несмотря на мой арест, ликовали и чуть не пустились в пляс. Одновременно, но уже по совсем другой причине, ликовал и жандармский полковник Широков, бывший случайно в отъезде: «Ну,—говорил он про меня,—наконец-то, он попался. Теперь ему уже не вывернуться».

На другой день меня в сопровождении двух жандармов—Гоголева и Рожкова—«препроводили» в Казань. Путь по железной дороге лежал через Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Самару, Пензу: пермские жандармы сопровождали меня до Уфы, уфимские—до Пензы, пензенские—до Казани. Задержка в пути вышла в Уфе, где жандармы оказались «заняты», и мне пришлось трое суток просидеть в мрачной одиночной камере, с маленьким оконцем под потолком.

Должен отметить, что в течение всего пути жандармы были отменно предупредительны: они исполняли все мои желания по части покупок с'естного, обедов в железнодорожных буфетах, фон-Оглио распорядился выдавать мне кормовых по 50 коп. в сутки, а какой-то изящный молоденький поручик в Пензе даже настаивал на том, что обед из железнодорожного буфета будет оплачен им.

По прибытии в Казань меня доставили в жандармское управление, в маленькой комнатке которого сидел сухой, как пергамент, полковник Марк и несколько жандармских офицеров.

— Вы,—сказал Марк,—привлечены к формальному дознанию по обвинению по 250 ст. Улож. о наказ., завтра вы будете опрошены, а сегодня я вас не задерживаю.

И меня отвезли в тюрьму.

Одиночный корпус Казанской тюрьмы по тем временам был одним из благоустроенных тюремных помещений. Одиночные камеры были расположены в двух этажах, соединенных чугунной лестницей, по-

крытой ковром. Камеры были маленькие, чистые, теплые. Меблировка состояла из койки, стола, стула, которыми можно было пользоваться в течение всего дня, и герметически закрывавшегося стульчака, а также умывальника. Окно было заграждено тонкой решеткой, а снаружи—деревянным щитом. Подробностей тюремного режима мне не пришлось близко узнать, так как мое пребывание в тюрьме оказалось крайне непродолжительным.

На другой день меня вызвали на допрос в одну из свободных камер, где находился жандармский ротмистр Бураго и товарищ прокурора судебной палаты И. В. Маслаков. Назвав себя, ротмистр пред'явил мне обвинение в участии в преступном сообществе, имеющем целью ниспровержение в более или менее отдаленном будущем существующего в России общественного строя. Конкретные улики сводились к тому, что я 18 апреля (т.-е. 1 мая) 1898 года участвовал на собрании алафузовских рабочих на лодках на реке Казанке, где и говорил противоправительственную речь. Тут настала моя очередь торжествовать. Я возмущенно заявил, что в Казани не бывал с весны 1897 года и, следовательно, 18 апреля 1898 года на собрании алафузовских рабочих быть не мог, так как в это время был в Перми, что 17 апреля 1898 года у меня в Пермском окружном суде было дело и о выступлении моем в суде записано в судебном протоколе. Ротмистр пытался возражать, что такие доказательства у них не принимаются, а обвинение основывается на свидетелях, но И. В. Маслаков мягко заявил, что если то, что я говорю, правда, то это—неопровержимое доказательство. Ротмистр недовольно запыхтел и распорядился ввести какого-то молодого рабочего. Отрекомендовав ему меня, он спросил, признает ли он во мне то лицо, которое говорило речь. Рабочий ответил отрицательно. Его увели. Ввели другого. Повторилась та же история. Допрос был окончен, и меня увели в мою камеру.

Назавтра явился жандарм и повез меня в фотографию снять, а оттуда—в судебную палату, где ротмистр Бураго, в присутствии товарища прокурора Миллера и пергаментного полковника Марка, объявил мне постановление об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в виду того, что обвиняемые Лукьянов и другой, фамилию которого я позабыл, не признали во мне лицо, говорившее речь 18 апреля 1898 года алафузовским рабочим.

Тем и кончилось это первое мое знакомство с жандармами. По этому делу, как я узнал впоследствии, со всех концов России были свезены в Казань бывшие казанские студенты: Крутиков из Сибири, Исаенко из Петербурга, и, кажется, в конце концов были найдены настоящие участники собрания в лице ветеринаров Гааса и Газенбуша. Надо только удивиться беззастенчивости Марка, свозившего в Казань людей, за год до событий поклянувших ее: хорош же был у него сыск, если в этом не могли разобраться, и велика же само-

уверенность и наглость, если он даже не счел нужным на местах навести справки, не были ли заподозренные лица 18 апреля 1898 г. вне Казани, в других городах.

Поданная мною на Марка в министерство внутренних дел жалоба осталась без ответа, а жалоба в министерство юстиции не имела никаких видимых последствий, хотя я и получил извещение, что делу дан ход. Впрочем, вскоре полковник Марк «волею божиею помре», а Бураго имел наглость через случайных пассажиров, с которыми он проезжал на пароходе, посылать мне приветы, чем ставил их и меня в самое нелепое положение. Говорили, что смерть Марка была последствием его неудачи в этом деле.

Летом (кажется, в мае) 1899 года, вернувшись из суда, я застал дома обыск. Обыск производил жандармский полковник Широков с товарищем прокурора И. В. Дегельманом, без нижних чинов. Самый характер обыска, отсутствие помпы показывало, что этому обыску не придается значения. Ничего «явно-преступного» найдено не было. Тут же был произведен допрос, из которого выяснилось следующее.

У моей жены незадолго был арестован брат—Е. П. Поморцев, ученик Кунгурского технического училища. Уже после его ареста на его имя было получено письмо из Перми от его товарища А. В. Давыдова, в котором он извещал его о том, что желателен его приезд в Пермь: «К тому,—писал он,—есть две причины. Во-первых, тебе есть посылка, которую по почте пересылать неудобно. А во-вторых, приехала твоя сестра Маруся и хочет с тобой повидаться. Адрес Владимира Николаевича—Екатерининская ул., д. Кашина».

Вот это-то письмо и послужило поводом к аресту Давыдова и к привлечению в качестве обвиняемых меня и моей жены. Разумеется, здесь ясна ничтожность и искусственность повода. Если еще можно было подозревать Давыдова в том, что он приготовил моему шурину какую-то, допустим, «нелегальную» посылку, то при чем тут я, которого можно подозревать только в том, что у меня остановилась моя свояченица Маруся, и при чем тут моя жена, о которой в письме нет ни слова и которую притянули к делу просто, так сказать, «по метрике»...

Дело это, по высочайшему повелению, в отношении нас с женой было прекращено, как мне объявил впоследствии при случайной встрече в казначействе полковник Широков в словах: «Дело о вас, само собой разумеется, прекращено». Но, несмотря на это «само собой разумеется», мы с женой были целый год обязаны подпиской о невыезде и числились под гласным надзором полиции.

К 1900 году рабочее движение в Перми уже развилось достаточно прочно: сложились организационные ячейки, и развитие движения шло под руководством Р.С.-Д.Р.П. Жандармы чуяли, что агитация ведется, что противоправительственная пропаганда ширится. Им попадали в руки прокламации, до них доходили отголоски

рабочих разговоров, но ничего конкретного поймать им не удавалось. Мы с часу на час ждали провала, обысков и арестов. Поэтому мы даже не удивились, когда 2 марта 1902 года в нашу квартиру явился подполковник Гилевич с жандармами и произвел обыск, а вслед затем и арестовал меня.

Из того, что обыск производился без прокурорского надзора, было ясно, что он производится «в порядке охраны». Положение об охране государственного порядка и спокойствия давало жандармам право по одному подозрению арестовывать любое лицо и держать без пред'явления обвинения в течение 7 дней. По истечении этого срока, если обвинение не пред'являлось, арестованный подлежал освобождению, хотя губернатору принадлежало право продолжить арест до 2 недель, а министру внутренних дел — до 1 месяца. Если в течение этих сроков материала для пред'явления обвинения не оказывалось, арестованный мог быть освобожден даже любым мировым судьей, явившимся для проверки документов в тюрьму.

В тюрьме я провел пять дней, однообразных как копеечные монеты. Вечером пятого дня меня вызвали на допрос. Привезли на квартиру полковника Широкова, жившего над жандармским управлением на Покровской улице. Полковник встретил меня словами:

— Вот где бог привел встретиться.

Во время допроса он старался выставить свое лицемерное сочувствие революционной борьбе и все время употреблял уловки, вроде следующей: «Вы вот рабочим добра желаете, а они на вас доносят». Уверенный во лжи полковника, я просил его показать мне эти «доносы» рабочих, и он мне пред'явил листок, где печатными буквами было написано анонимное слезливое обращение к полковнику защитить их, бедных рабочих, от смутьянов, сеющих среди них плевели, разбрасывающих прокламации, при чем, как на таковых, было указано на меня и на мою жену. Внимательно рассмотрев листок, я тут же категорически заявил, что это—грубый подлог, что это писано не рабочим, а интеллигентом, подделывавшимся лишь под рабочего.

— Почему вы это думаете?—спросил, повидимому, озадаченный Широков.

— А хоть бы потому, что вместо буквы «я» везде стоят славянские «юсы», которых малограмотный человек вовсе не знает.

— Представьте, Николай Августович говорит то же самое!— воскликнул Широков (Николай Августович Вармунд—мой товарищ, адвокат, принимавший вместе со мною близкое участие в газете «Пермский Край», человек беспартийный, страстный охотник, принадлежавший, в противоположность мне, к верхам пермского общества). По глазам полковника я видел, что донос в значительной степени поколеблен.

Далее полковник объявил, что на меня падает подозрение в разбрасывании и расклеивании по городу прокламаций.

— У меня,—сказал он,—есть агентурные данные, что вы по ночам, часов в 12, выходите из дома и идете в пустынные части города, а на утро везде появляются прокламации. В частности, 28 февраля у вас в квартире было собрание, печатали прокламации, а в 12 часов вы пошли и расклеили их.

Я не мог не рассмеяться.

— Глупо было бы,—сказал я,—печатать прокламации у себя на квартире да еще на собрании. У того же Вармунда вы можете узнать, что за собрание было у меня: это был обыкновенный журфикс, ужин, на котором был и Вармунд и где пели, играли на скрипках, ужинали, и больше ничего. А ваши агентурные данные—явная ложь: почему же агенты меня не схватили, если я расклеивал прокламации?

— Я им это говорил,—возразил Широков,—но они говорят, что ныне сугробы снега такие, что они не могли подойти к вам.

Вдруг мне на память пришло одно событие, бывшее несколько дней тому назад: ко мне, как к адвокату, явилась женщина, жившая у нас на дворе, и просила совета, как ей развестись с мужем, музыкантом городской оперы, который, по ее словам, тиранит ее, пьянствует и почти каждую ночь, после оперы, заносит домой скрипку и уходит в публичные дома. Вспомнив об этом, я высказал предположение, что агенты Широкова просто смеиали меня с этим музыкантом, видя, как он по ночам выходит из наших ворот.

Полковник хлопнул себя по лбу и искренно вскричал:

— А ведь это похоже на правду!.. Вот мерзавцы,—ну, покажу же я им!.. Представьте, ведь мне так и доносили, что вы ходите по направлению к публичным домам. Я даже думал, не там ли где-нибудь спрятана типография, и велел произвести обыск во всех публичных домах... Если все это подтвердится, я вас освобожу.

Полковник еще некоторое время негодовал и возмущался, а затем отправил меня обратно в тюрьму.

На следующий день меня с надзирателем привезли домой, где оказался Широков, допрашивавший нашу прислугу, хозяина дома, Вармунда и жену музыканта. После допроса, подтвердившего мои объяснения, он распорядился, чтобы надзиратель шел домой, а я остался на свободе.

Однако свободой я пользовался недолго: 7 марта 1902 г. я был освобожден, а 13 марта, придя в редакцию «Пермского Края», я застал в полном разгаре обыск: жандармский подполковник Гилевич и товарищ прокурора М. П. Групильтон рылись во всех редакционных столах и рукописях. По окончании обыска Гилевич предложил мне следовать за ним ко мне домой, где тоже будет обыск. Групильтон любезно предложил мне «подвезти» меня (у него была своя лошадь) и по дороге сказал мне:

— Эх, знаете, они опять, кажется, думают вас арестовать.

Сообщение это было двучленно: «казаться» Группильону не могло, так как постановление об аресте было подписано и им, как товарищем прокурора...

Обыск на дому у меня был сделан, разумеется, только «для проформы»: жандармы знали, что у меня ничего нет, а, обжегшись на молоке с моим предыдущим арестом, дули на воду; Гилевич лебезил передо мной и подчеркивал, что в протоколе обыска он на этот раз написал, что при «самом тщательном» обыске ничего «сколько-нибудь» преступного не обнаружено. Однако это не помешало увезти меня вновь в «тюремный замок».

Впоследствии из допросов оказалось, что в то самое время, как меня освобождали из тюрьмы, один из сидевших в ней—учитель Добрянской школы Черепанов—писал обширное «чистосердечное признание» в своих поступках. Он излагал в этом признании, что предыдущим летом (1901 г.) в Перми происходил с'езд земских учителей, в котором приняли участие представители партии с.-р. Е. К. Брешко-Брешковская и Г. А. Гершуни, а также местные с.-р. учителя Ф. Н. и А. Н. Ягодниковы, В. А. Владимирский и др. и что на этом с'езде, происходившем при ближайшем участии местного пароходчика Н. В. Мешкова, решено было организовать Уральский союз социал-демократов и социалистов-революционеров, в состав которого вошли, кроме названных лиц, и социал-демократы Рутман, Левин, Коптевский, Скворцов, рабочие—Аристов и Авдеев и др. Далее Черепанов изложил (и это было открытием для жандармов), что среди социал-демократов по вопросу о вхождении в союз с с.-р. были разногласия, и значительная группа с Трапезниковым во главе была против этого объединения. Он рассказывал, что А. Н. Ягодникова старалась устранить эти разногласия, и в этих видах в квартиру Трапезникова являлась группа учителей, среди которых приходил и Гершуни, но ее объединительные тенденции встретили со стороны Трапезникова, Луполова и др. резкий отпор, что ими в квартире зубного врача Эмдина даже было устроено собрание для учителей («вечеринка»), где они резко выступали против с.-р. вообще и против какого бы то ни было организационного объединения с ними.

Все это было фотографически верно. Учителя были корреспондентами нашей газеты «Пермский Край», и поэтому их связь с нашим кружком при приезде в Пермь была естественна. Поэтому, когда А. Н. Ягодникова сказала мне, что она «зайдет вечером с учителями», я даже не подозревал, что это посещение носит политическую подкладку. В числе моих гостей был и Черепанов, которого я не знал и по сие время не знаю в лицо, и Гершуни, которого я до того времени не видал и которого мне А. Н. Ягодникова не назвала. Это собеседование кончилось резкими разно-



гласиями между нами и Гершуни, а так как товарищи настаивали на необходимости дать отпор с.-р. идеологии, то в квартире зубного врача М. И. Эмдина и была устроена «вечеринка» для учителей, где выступали с докладами я и, помнится, Б. П. Вологдин, а в прениях — Я. М. Луполов и др. Но ни Гершуни, ни другие с.-р., ни сочувствовавший им В. А. Владимирский не явились.

Данные Черепановым материалы послужили основанием к привлечению к делу и аресту меня, Н. В. Мешкова, М. И. Эмдина, Б. П. Вологодина, В. А. Владимирского и др. (в ночь с 13 на 14 марта 1902 г.). Представители Уральского союза с.-д. и с.-р. супруги Ягодниковы, Левин, Рутман, Клушина, Коптевский уже «провалились» раньше и сидели в тюрьме, а Я. М. Луполов успел уехать за границу до обнаружения наших преступлений.

На этот раз двери тюрьмы затворились за нами надолго. Сперва я сидел в старом корпусе тюрьмы: меня усиленно изолировали от остальных товарищей и не пускали «под башню», где они сидели в одиночках в сравнительно лучших условиях и в состоянии общения между собой. Затем меня для вящей изоляции даже удалили в больницу, и только когда все сидевшие объявили голодовку, требуя окончания дела, общих прогулок и общего заключения, я настоял, чтобы меня перевели к ним. В это время в тюрьме оставались Ягодниковы, Ф. Н. и А. Н., В. А. Владимирский, П. М. Рутман, Янкевич.

Мы голодали 11 дней. Положение было крайне тяжелое. Все лежали, не вставая. Изо рта у всех шел какой-то дурной запах. Даже начальник тюрьмы капитан Мощенский плакал, выходя из камер башни. Но ответа на наши требования не было, а мы решили не сдаваться и ставили жизнь на карту. И вот, когда силы уже окончательно покидали нас, пришел ответ: все требования были удовлетворены. Нас немедленно перевели в общую палату тюремной больницы, где мы (мужчины) сидели все вместе и все же вместе гуляли на зеленом лужке за больницей без ограничения времени. Прошло около недели. Ко мне пришел мой клиент, слепой священник о. Федор Попов, которого из-за его слепоты водила под руку его жена. Не успели мы начать разговор, как вбегает капитан Мощенский и, махая бумажкой, кричит:

— Кончайте свидание! Свобода!

Оказалось, что от прокурора Казанской судебной палаты было получено распоряжение об изменении меры пресечения в отношении всех нас.

Мы мигом собрались и через какие-нибудь полчаса уже шли по Сибирской улице в полицию — в зимних костюмах, несмотря на август месяц, в которых были арестованы, «с вещами», с нестриженными волосами и небритыми бородами (стрижка и бритье не позволялись).

В течение всего этого сидения (с 13 марта по конец августа 1902 года) я не переставал почти ежедневно писать статьи для газеты «Пермский Край»: несмотря на строгость режима, мне постоянно доставлялись тайно целые пачки газетных вырезок и тайно же от надзора я почти ежедневно отсылал в редакцию по статье, а то и по две. Это удавалось благодаря сидевшему в тюрьме за долги несостоятельному должнику Л. П. Шилоносову, который по закону содержался не «в тюрьме», а «при тюрьме», т. е. его не запирали до глубокой ночи и он мог свободно передвигаться по тюрьме целый день. Но в особенности это удавалось благодаря тюремной фельдшернице К. К. Чеховской (Рязанцевой), ради ежедневных посещений которой я предпочитал сидеть в полном одиночестве в тюремной больнице, где мне удалось написать целую книгу: «История Приуралья и Прикамья в эпоху закрепощения», напечатанную в 1911 году.

После освобождения из тюрьмы в августе 1902 года агитация среди рабочих в Перми продолжалась двумя организациями: Уральским Союзом с.-д. и с.-р., на стороне которого было преимущество в обилии интеллигентных сил, и Пермским комитетом Р.С.-Д.Р.П., владевшим фактически таким могучим орудием агитации, как газета «Пермский Край». Около этой газеты на легальной почве сплотились десятки работников, разбросанные по губернии, и десятки объединенных в Перми (Б. П. Вологдин, Р. П. Трапезникова, А. А. Шнереров, В. В. Южаков, Е. В. Савельева, Ф. И. Мондшейн, Н. Г. Лучинин, А. И. Ставровский и др.). Газета звонко кричала тысячами голосов, нарушала мирный покой времен фон-Плеве, и естественно, что на нее были обращены взоры властей. В начале 1903 года случайно в театре я подслушал, как жандармский подполковник Гилевич с негодованием говорил какому-то инженеру, что газету надо обуздать, так как она подрывает авторитеты и, главным образом, лиц, высоко стоящих в рабочей среде (инженеров, мастеров и пр.). Уже тогда можно было понять, что на нас готовится поход. В то же время я получил известие, что наше прошлогоднее дело уже высочайше разрешено и мне назначена высылка в Вологду на 2 года. Учувшие все это пайщики газеты «Пермский Край», повидимому, трусили, и между ними и редакцией начался конфликт, кончившийся выходом всех нас из состава редакции.

Но охранка не желала ждать высылки. Поздно вечером с 13 на 14 марта 1903 года, когда моя семья уже спала, а я еще работал в кабинете, раздался звонок. Я подошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Телеграмма!—ответил приторно-сладкий голос.

Я повернул ключ, отворил дверь, не снимая цепи, и увидел пристава Липского с нарядом полиции и жандармов. Пришлось впустить всю эту свору в квартиру. После обыска я был арестован и к утру уже

помещен в башню тюремного замка. Там сразу же я узнал, что в тюрьму приведен В. А. Владимирский и, к моему удивлению, адвокат Н. А. Вармунд, стоявший в стороне от революционной борьбы, занимавший чисто-либеральную позицию. Из прежде сидевших припоминаю учительницу Л. А. Коробицыну, ожидавшую высылки в Чердынский уезд.

Так как мы были арестованы в порядке охраны, то нам было для соблюдения формальностей предъявлено постановление жандармского ротмистра Исаенко о том, что он постановил такого-то «арестовать впредь до выяснения причин ареста». Помню, что печатный бланк с такой формулировкой постановления впоследствии возмущал либеральных членов судебной палаты.

Прошло не менее месяца, как выяснились причины ареста. Мне было предъявлено обвинение в принадлежности к преступному обществу, имеющему целью ниспровержение существующего в государстве общественного строя в более или менее отдаленном будущем (социал-демократическая партия). В качестве члена такого, я, по словам жандармов, вел в квартире Вармунда противоправительственные разговоры, получал секретные письма на имя Вармунда, прятал у него нелегальную литературу и даже тайную типографию. Все это было безусловной ложью: в квартире Вармунда я бывал действительно ежедневно по делам редакции «Пермского Края», но не придавал этому решительно никакого значения. Вармунд жил на подорожье между редакцией и моей квартирой и как-то вошло в обычай ежедневно по дороге заходить или заезжать к нему, чтобы перекинуться несколькими словами и предположениями о текущей работе по газете. Но никогда у нас и речи не бывало о нелегальной работе, так как он стоял в стороне от революционной волны. Поэтому я сразу же запальчиво объявил обвинение результатом ложного доноса. Ротмистр Исаенко хитро усмехнулся и сказал, что у них есть «документальные данные». Я ожидал, что далее последует обвинение меня в агитации среди рабочих, но, к моему удивлению, меня в этом вовсе не обвиняли, не обвиняли и в агитации через посредство «Пермского Края». Повидимому, у жандармов не было никаких конкретных данных о моих связях с рабочими и о моих работах в этом направлении. Быть может, им казалось достаточно их «документальных данных», чтобы разделаться со мною и вырвать меня из пермской рабочей среды.

Сидя в своей камере, я строил десятки предположений о том, кто мог донести на меня и Вармунда. Я был уже близок к тому, чтобы окончательно заподозрить в этом письмоводителя Вармунда, Н. М. Овладеева, которого я постоянно встречал в его квартире, но полученное с «воли» сообщение сделало мне ясной загадку «документальных данных».

Виной всему оказалась жена Н. А. Вармунда. Легкомысленная свет-

ская дама, записная «любительница» всех драматических спектаклей, всегда вращавшаяся в кругу артистов и оперных певцов,— она привыкла к быстрой смене «поклонников», но на страже ее супружеской верности стоял ее старый друг, армянин Баласянц, служивший в Государственном Банке. Он ревновал ее к каждому встречному мужчине до безумия и в безумии бегал с револьвером, который, по добродушному выражению Н. А. Вармунда, «давно уже не стрелял», следил за ней и жаловался мужу на нее, на что тот отмахивался со словами: «Хорошо, хорошо, разберемся после». Мои частые посещения квартиры Вармунда возбудили в Баласянце ревнивые подозрения. Его малокультурная мещанская идеология не допускала иных объяснений этих посещений, и он впал в самый ярый восточный ревнивый раж: начал преследовать меня, бегать за мной со своим «нестреляющим» револьвером, бомбардировать меня и мою жену анонимными письмами. Увещания как мои, так и Вармунда остались безрезультатными. Тогда мадам Вармунд решила убедить своего друга, что я посещаю их квартиру ради общей революционной работы с ее мужем. Когда она сказала нам об этом, мы настояли на том, чтобы она этого не делала. Наши доводы подействовали... Но мы не знали, что она уже написала своему другу письмо, в котором среди уверений в любви старалась уверить его, что я посещаю их квартиру потому, что получаю через них конспиративные письма, прячу у них тайную типографию и пр. Это письмо, написанное зимой 1902 года, она бросила в ящик своего письменного стола и забыла там среди разных бумаг. Пристав Липский нашел его при обыске 13 марта 1903 года, тотчас же показал генералу Широкову и получил от него поручение арестовать и меня. На этом письме и было построено все обвинение, нужное жандармам для того, чтобы изъять меня из употребления и удалить из среды пермского пролетариата.

— На этот раз мне пришлось пересидеть, где только было возможно: и в старом корпусе тюрьмы, и под башней, и в больнице. В октябре 1903 года тюрьма оказалась переполненной политическими, вследствие новых арестов. Поэтому жандармы прибегли к новой, еще неслыханной в Перми, мере: часть заключенных отправили в Николаевские исправительные арестантские роты, где были приспособлены одиночки и куда уже была направлена из Екатеринбурга партия политических (В. Кулаков, В. Киснемский, П. Медведев, Мелентьев). Из Перми в роты отправили меня, В. А. Владимирского, Н. Б. Скворцова, рабочего Аристова и калино-камасинского крестьянина (сапожника) М. Петрова.

Николаевские арестантские роты находятся в 18 верстах от ст. Кушва, Пермской жел. дороги, почти в безлюдной местности среди густых хвойных лесов и гор. Здесь всех нас и екатеринбуржцев посадили в одиночки через камеру, но так как камер для полной «изо-

ляцши» не хватило, то случайно припились рядом камеры моя и В. Кулакова, с которым и можно было перекинуться словом через отверстие в стене. Эти камеры с узенькими окошками были переделаны из цейхгаузов бывшего ружейного завода.

Режим в ротах был отменно суровый. Начальником был полковник Граббе, полусумасшедший старик, с первого абцуга об'явивший нам (в присутствии тюремного врача Петрова), что здесь не помогут и голодовки, потому что врач всегда выдаст ему удостоверение, что голодающие умерли от тифа, и поэтому он голодовок не боится и с ними считаться не будет. Впоследствии он подстрекал уголовных бить политиков, как студентов и «жидов», т.-е. врагов отечества, отказывающихся сражаться с японцами. Мы были отданы в полную власть этого негодяя, на которого некому было жаловаться и который не пропускал жалоб на себя. Надзор за ними осуществлялся товарищем прокурора Самоделкиным, раз в месяц приезжавшим из Верхотурья. Но никто не смел пикнуть ни слова при его посещениях, тем более, что от нас Самоделкин просто отмахивался: он был товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда, а мы числились за прокурором Пермского окружного суда.

Угрюмо и монотонно тянулись дни в Николаевских ротах. Единственным разнообразием были общие прогулки и пилка дров, которая была нам разрешена начальством. Эти прогулки происходили на переднем дворе, откуда через чугунную решетку забора открывался манящий вид на беспредельный простор уральских лесов, гор и озер. Как только начинали обостряться отношения с начальством,—тотчас же прогулки переносились во внутренний двор и работа по пилке дров воспрещалась.

Сначала сиденье шло гладко. Мы не подавали повода к придиркам, хотя в них и не было недостатка. Но однажды чаша терпения переполнилась: надзиратель (безносый старик) обругал площадной бранью П. Медведева, человека почти ненормального, во всяком случае с расшатанной нервной системой. Столкновение было столь шумным, что его слышали все в соседних камерах. Не успели мы еще обсудить, как реагировать на происшедшее, как приехал Самоделкин. Я решил рассказать ему о происшедшем. Самоделкин смущенно попросил изложить ему все это письменно. Я это и сделал.

На другой день меня повели на двор к другой части одиночного корпуса, где у входа стоял Граббе, его помощники и старший надзиратель. Граббе произнес:

— Так как оказалось, что вы недостаточно изолированы, то пожалуйте,—и указал на дверь.

Впечатление было такое, что меня вызвали и отделили от товарищей с целью избить. Но на этот раз это оказалось неверно. Меня только перевели в отдельное помещение, где кроме меня никого не было. Это помещение за всю зиму не отапливалось: сидеть и спать

приходилось в шубе, чернила замерзли. Граббе каждый день приходил ко мне, приставил ко мне особого надзирателя, неотступно следившего за мной через волчок, и приходил в неистовство, видя меня в шубе. Он вызвал фельдшера, требовал, чтобы тот удостоверил нормальность температуры, велел повесить термометр и ежедневно записывать градусы. Увы! термометр стал показывать— $2^{\circ}$ , и Граббе велел выбросить и повесить другой, который неизменно стоял на—16 градусах. Я не вступал с Граббе ни в какие разговоры и при его посещениях делал вид, что не замечаю его. Это приводило Граббе в бешенстве, и он буквально прыгал передо мной и, стуча себя в грудь и брызгая слюной, без конца кричал:

— Я—начальник тюрьмы, а вы—арестант, арестант, арестант!

Прокурору Пермского окружного суда я письменно изложил все происшедшее, очень прозрачно намекнув, что Граббе—человек больной, сумасшедший, вследствие чего я считаю свою жизнь в ротах в опасности. Характерно, что Самоделкин больше ко мне не являлся: его просто не водили в мое помещение, как в необитаемое. Однако мое заявление прокурору неожиданно воздействовало, и в один весенний апрельский день меня вызвали в контору и отправили этапом в Чердынскую тюрьму.

Когда подвода выехала из ворот навстречу весеннему солнцу и решетка ворот захлопнулась, заперев столпившихся на высоком крыльце помощников начальника и надзирателей, этих добровольных арестантов Николаевских рот, я вздохнул полной грудью: я вырвался живым из этой могилы, где впоследствии политических избивали на-смерть, прогоняя их сквозь строй надзирателей, каждый из которых бил их по спине винтовкой, и где уголовные десятками умирали «от тифа» после того, как к губернатору явился от них «ходок», взявшийся изложить пред губернской властью все насилие полковника Граббе.

В ротах остались трое из привезенных со мною товарищей (рабочий Аристов уже был выслан в Оленецкую губернию), а в поселке близ рот—моя семья и умиравший от нервного расстройства мой маленький сын, который родился уже без меня и без меня и умер.

Путешествие мое от рот до Перми и от Перми до Чердыни описано мною в очерке «По этапу» («Образование», 1905 г., № 5—6). В Чердынской тюрьме условия режима были диаметрально противоположны николаевским: начальник тюрьмы Лопатин получил от прокурора особую инструкцию по отношению ко мне, выражавшуюся в словах «все можно, даже вино», а надзор за тюрьмой принадлежал моему университетскому товарищу А. А. Гилькову, когда-то вместе со мной читавшему в студенческом кружке Ф. Лассалья.

Через месяц было получено высочайшее повеление о высылке меня и В. А. Владимирского в Архангельскую губернию на 5 лет. Вновь меня повезли в Пермь, соединили здесь с Владимирским и на арестант

ской барже отправили по Каме в Нижний-Новгород, где водворили в мрачную круглую башню тюремного корпуса, вдохновившую Скитальца на стихотворение: «В круглой башне я сижу, сверху круглое оконце, из окошка я гляжу, как сияет в небе солнце». Но здесь неожиданно моей семьей от губернатора, барона Фридерикса, было получено для меня разрешение следовать дальше не этапом, а в сопровождении полицейского, с которым мы и прибыли в Архангельск 11 июля 1904 года.

В августе мы уже были «водворены» в село Емецкое, Холмогорского уезда, назначенное нам для отбывания ссылки. Здесь мы прожили полгода, как на даче, отдыхая от полутораговых мытарств и истязаний. Высылаемым царское правительство оказывало «пособие»: всякий получал по 8 рублей в месяц, окончившие высшие учебные заведения по 16 рублей в месяц, жены—половину, дети—каждый по четверти и, кроме того, на квартиру выдавалось ежемесячно по два или по три рубля. Наша семья из четырех человек получала по 35 рублей в месяц, к немалому соблазну урядника Кукина, не могшего взять в толк, за что нам платят такое «жалованье».

За полгода нашей жизни в Емецком у нас было только одно столкновение с администрацией. Двое поселенных в дер. Пингише политических (в том числе—мой товарищ по Николаевским ротам Мелентьев) приехали к нам в гости и переночевали у нас. Урядник составил на них протокол за самовольную отлучку из дер. Пингиши. Мировой судья оштрафовал их по 50 коп. каждого. Но мы взглянули на это дело, как на принципиальное, была подана кассационная жалоба, и Архангельский окружный суд согласился с ее доводами: дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Это дало нам повод и возможность беспрепятственно посещать друг друга в соседних селениях (Пингише, Сие и пр.).

За исключением этого случая, никаких столкновений с администрацией у нас не было. Все ссылки ежедневно беспрепятственно собирались у нас в квартире, читали, пели, разговаривали, и урядник как-то при встрече сказал мне:

— Как соберутся товарищи, попросите спеть эту песню... как ее?.. «к ружьям привинтим штыки»... уж больно я люблю ее слушать...

По наступлении «свобод» после «кровавого воскресенья» 9 января 1905 года мне неожиданно, по представлению министерства юстиции, было разрешено выехать в «одну из южных губерний», а министерство внутренних дел ограничило выбор места для жительства тремя губерниями: Оренбургской, Уфимской и Самарской. Я выбрал Самарскую губернию, и 19 февраля 1905 года мы выехали в Самару.

Дни свобод 1905 года, манифест 17 октября о конституции и политическую амнистию 21 октября 1905 г. я пережил в Самаре. 21 октября с меня спали все ограничения в праве передвижения, а в начале ноября я получил из Перми одну за другой две телеграммы, которыми

Пермский комитет Р.С.-Д.Р.П. вызвал меня в Пермь. Я поспешил приехать, но приехал чуть ли не с последним поездом: уже начиналась ноябрьская политическая забастовка. В декабре движение было раздавлено, и почти весь Пермский комитет Р.С.-Д.Р.П. очутился в тюрьме. Благодаря тому, что мне заранее была назначена квартира у д-ра Шрейбера, я уцелел. Просидев в этой квартире около недели и видя, что надежды на победу над реакцией нет, я решил уехать из Перми. Железнодорожного движения еще не было, и оставшиеся на воле товарищи вывезли из Перми на тройке меня и М. Горных. Мы на лошадях доехали до Казани, куда попали в канун Рождества, а оттуда я проехал уже железнодорожным путем до Нижнего-Новгорода. Здесь я застал социал-демократические организации совершенно разбитыми; остатки их в лице Зайченка («хохла»), О. А. Давыдовой, А. Фортакова набросились на меня, чтобы вовлечь меня в работу. И. В. Цветкову («Свиногону») было поручено даже сделать для меня фальшивый паспорт, и он сделал никуда не годную фальшивку. Но все это было напрасно.

Однажды в морозное январское утро я ехал на трамвае из Канавина на Большую Покровку. В вагон сел канавинский пристав Воскресенский, а около станции Кремлевского элеватора вскопчила какая-то явно подозрительная личность. Я поспешил сойти и быстро направился к элеватору, но был остановлен городовым. Подоспел пристав и, осведомившись о моей фамилии, пригласил меня «на минутку» в участок, где меня арестовали, продержали несколько часов, отправили в полицейское управление, а оттуда, как арестованного «в порядке охраны»,—в тюрьму.

Здесь я был водворен в знакомую уже мне уголовную башню. Ровно через неделю меня вызвали в контору, и жандармский ротмистр Попов объявил мне постановление о привлечении меня по 125 ст. Угол. улож. за участие в Пермском комитете Р.С.-Д.Р.П., при чем показал и телеграмму из Перми о моем задержании. На допросе я заявил, что никаких показаний давать не желаю, и решил спокойно ждать, куда бросит меня судьба. После допроса меня из башни перевели в деревянные бараки тюрьмы. Никогда я не сидел в тюрьме с таким удовольствием, как в этот раз. Тюремный режим почти не чувствовался. Это обуславливалось, с одной стороны, свойствами характера начальника тюрьмы штаб-капитана П. А. Барынина, с другой—временем: все ждали Первую Государственную Думу, а вместе с ней—амнистию, свободы, льготы в отношении к политическим и ослабления суровостей самодержавного режима. Наконец, свободному режиму содействовало переполнение тюрьмы и самый состав заключенных. Здесь сидели А. М. Лежава, Н. А. Семашко, П. И. Лебедев-Полянский, П. М. Лебедев-Керженцев, А. Д. Браиловский, присяжный поверенный Н. А. Жемчугов, врач Н. И. Долгополов, врач А. Ю. Фейт, инженер Бехли, наиболее активные рабочие: С. Д. Зепченко, П. В. Гордеев,



железнодорожники (Акимов, Ешерский), почтово-телеграфные служащие (Адолин), учителя (Миловидов, Страхов) и многие другие.

Целый день наши камеры были открыты, и мы гуляли в тополевой аллее, играли в городки, пили на воздухе чай. Вечера были посвящены шахматам и чтению вслух газеты. Начальство пропускало в тюрьму «Новое Время», а нам ухитрялись передавать и другие газеты—«Русское Слово», «Нижегородский Листок». Камеры были устроены так, что через волчки можно было переговариваться совершенно свободно. К нам допускали лавочника Сиземина, ко мне приводили на целые дни детей, приносили для работы пушущую машину. Пронесли даже фотографический аппарат, и И. В. Цветков снимал нас группами и по одиночке. По предложению А. М. Лежавы, мы официально приветствовали телеграммой Н. Н. Жорданию по случаю избрания в Государственную Думу.

Так незаметно промелькнуло полгода. Летом моя жена поехала в Пермь, где выяснила, что меня предадут суду судебной палаты вместе с другими 50 лицами, участвовавшими в Мотовилихе в вооруженном восстании, но до суда мера пересечения была изменена на надзор полиции, и в конце июля 1906 года я очутился в Нижнем на свободе.

В Нижнем-Новгороде я сразу зажил кипучей революционной жизнью: я вступил в состав Нижегородского комитета Р.С.-Д.Р.П. и мне было поручено руководство окружной организацией; я вошел в состав редакции газеты «Отклики» и журнала «Вестник Приказчика» и систематически читал лекции по гражданскому праву в клубе профессионального союза в Сормове. Особенно горячее участие пришлось принять в избирательной кампании по выборам во 2 Государственную Думу, куда мы проводили по Нижнему-Новгороду А. М. Лежаву. Провести А. М. Лежаву не удалось, по моему мнению, исключительно вследствие соглашения с с.-р., против которого я всемерно протестовал, но за которое высказалось большинство комитета во главе с Н. А. Семашко и П. П. Малиновским. С.-р., не имевшие в низах никакого влияния, прошли в выборщики на наших голосах в равном с нами количестве, и большинством одного голоса провели в Думу, нарушив соглашение с нами, врача Н. И. Долгополова.

Тогда мне вся эта работа представлялась в значительной степени «использованием легальных возможностей», и тактика администрации как-будто подтверждала эти «возможности»: по крайней мере, нам сошло без всяких последствий то обстоятельство, что во время предвыборной кампании меня «накрыл» на беседе с выборщиком в «Почтовых Номерах» прославившийся впоследствии расстрелом ленских рабочих охранник ротмистр Трещенков. Он притворился, что не знал, что я не имею права беседовать с выборщиками, как не имеющее избирательного права лицо (я не прожил еще в Нижнем года, необходимого для права участия в выборах, да к тому же состоял

под судом и на собраниях выступал под фамилиями лиц, внесенных в списки ошибочно и, следовательно, не являвшихся на таковые; в одном из участков я даже фигурировал на собрании под фамилией Трещенкова, так как ротмистр по должности был лишен избирательных прав, и мы были уверены, что он не явится на собрание, а стало-быть и уличить нас будет некому).

Но из всей моей «легальной» работы охранка, разумеется, плела прочную паутину. Поэтому, когда незадолго до 18 апреля 1907 года я поехал в село Павлово, центр замочного промысла, с целью прочесть лекцию, лекция внезапно оказалась запрещенной, а у меня в номере пристав Пикар произвел обыск, при чем в протоколе упорно называл меня «личностью, именующей себя Трапезниковым». Впрочем, теперь, когда раскрылась широкая картина провокации, я даже не знаю, не был ли обыск у меня результатом этой провокации. Дело в том, что накануне я участвовал в районной конференции Р.С.-Д.Р.П., а перед обыском только что получил для отпечатания в Нижнем-Новгороде проект первомайской прокламации. Быть может, полиция шла именно за этой прокламацией, уверенная в наличности ее у меня.

Как бы то ни было, после обыска я задержан не был, и тотчас же благополучно уехал из Павлова в Нижний. Спокойно прошло и 1 мая (18 апреля) 1907 года. Я склонен был не придавать обыску никакого значения, но через несколько дней обыск повторился, и я был арестован.

К этому времени тюрьма была так переполнена, что я долгое время сидел в конторе, пока П. А. Барынин искал для меня «места». Наконец, он сообщил мне, что «воче (вообще) поместить вас некуда, но, изволите видеть, господин Зенченко (один из осужденных по делу о сормовском вооруженном восстании) согласен принять вас в свою одиночку». И я был водворен в деревянные бараки, в ту самую одиночку, которую я занимал в 1906 году и которую после меня занял «по праву преемства» С. Д. Зенченко.

На этот раз мне пришлось сидеть не особенно долго. Моя судьба была, повидимому, предрешена, и никакого следствия для этого не нужно было. Для проформы с меня сняли допрос, предъявили обвинение в принадлежности к Р.С.-Д.Р.П. и отправили в Петербург для разрешения. Мои друзья пытались было хлопотать обо мне через членов с.-д. фракции 2 Государственной Думы, но руководящая работами фракции меньшевистская группа в лице члена Думы Салтыкова ответила, что всякие хлопоты безнадежны: «ему, по словам Салтыкова, давно пора быть на каторге». В начале июля мне было объявлено о том, что меня высылают на 2 года в Вологодскую губернию, а 11 июля 1907 года я уже приехал в Вологду в сопровождении полицейского.

Подъезжая к городу, полицейский вычистил свой мундир, начистил мелом все свои бляхи, нафабрил усы и сразу же «представил» меня

в полицейское управление. Было 8 часов утра, и в полиции не было никого, кроме сторожа. Мой провожатый зашумел, потребовал дежурного, но сторож объяснил, что никаких дежурных у них нет, а когда придет секретарь, он и примет пакет.

— А где же помещение для арестованных?—спросил мой страж.

— И помещения у нас нет.

— А это что?—ткнул он пальцем в дверь с прорезанным отверстием.

— А это я помещаюсь.

Разбитый по всему фронту городской обратился за сочувствием ко мне и долго скулил по поводу вологодских порядков, сокрушенно повторяя:

— Слабо здесь, слабо.

В 10 часов явился секретарь полиции Гусев и, приняв пакет, немедленно отпустил меня на все четыре стороны. Так произошло «водворение» меня в место высылки.

С отношением к политическим ссыльным в Вологде—с точки зрения нижегородского полицейского—дело обстояло действительно «слабо»; это обуславливалось тем, что ссыльных были тысячи, что они были спаяны между собою единством положения и организационной связью. Администрация официально признавала представительство ссыльной колонии, официально считалась со старостами ссыльных и их кассой взаимопомощи. Доходило до того, что губернатор А. Н. Хвостов даже разрешил съезд представителей уездных колоний ссылки, которые и действительно съехали в Вологду, и если съезд не состоялся, то лишь из-за того, что губернатор настаивал на участии в съезде уездных исправников, а ссыльные на это не согласились. Все эти «вольности» обуславливались в значительной степени тем, что сам Хвостов смертельно боялся ссыльных, ожидая с их стороны покушения на свою жизнь: «вольностями» он хотел задобрить ссыльных. Насколько ссылка, как организация, признавалась Хвостовым, можно судить по тому, что совершенно открыто происходили третейские суды между колонией ссыльных и врачем психиатрической лечебницы Марковой и между издателем газеты «Вологодская Жизнь» Теплицким и группой ссыльных-сотрудников. На последний суд в качестве супер-арбитра приезжал даже член Государственной Думы Н. С. Чхеидзе. Единственно, что в ту пору преследовал Хвостов, были—кадеты, в которых он видел своих личных врагов; поэтому высланный казанский кадет Гусев был загнан им в Усть-Кулом, Усть-Сысольского уезда, на самый край географической карты, к «Вратам Смерти» (зырянское название названия Усть-Кулом). Вообще же ссыльные ютились по городам, и многие состояли на службе, особенно в земстве.

При таких условиях ссылка почти «не чувствовалась». Не было никакой обязательной явки в полицию для «регистрации», а я в пе-

риод своей ссылки ездили защищать дела комитетов Р.С.-Д.Р.П. и в Пермь, и в Оренбург, и в другие города, не говоря уже о выездах в уезды, при чем, разумеется, не спрашивал разрешения полиции. Это было возможно, потому что у меня на руках оставался мой паспорт, на котором не было никаких отметок о моем подневольном состоянии.

Но за плечами у меня было свое собственное «политическое» дело. Дело по обвинению меня в вооруженном восстании в Мотовилихе уже назначалось к разбору выездной сессией казанской судебной палаты в Перми в ноябре 1906 года—в один день с делом о вооруженном восстании в Сормове, назначенном в Нижнем-Новгороде. На мне лежала организация защиты по этому последнему делу, и вполне естественно, что отъезд мой на собственное дело в Пермь крайне тяжело отозвался бы на интересах обвиняемых по сормовскому делу. Поэтому на совещании с товарищами было решено, что я не поеду в Пермь и останусь защищать в Нижнем, а в Пермь вместо меня будет послано «крепкое» медицинское свидетельство, которое мне и добыл Н. А. Семашко. Таким образом мое личное дело в 1906 году было выделено из общего дела о вооруженном восстании в Мотовилихе и было отложено вследствие моей «болезни», а я в это время защищал сормовцев.

Когда в Вологде я получил повестку о явке в Пермь на суд по этому делу, я пошел к Хвостову за «разрешением» отлучиться в Пермь. Всегда приторно-любезный губернатор категорически отказал мне в этом, ссылаясь на необходимость получить разрешение на выезд от департамента полиции. Немедленно была послана телеграмма, но ответ за подписью директора департамента полиции, Трусевича, пришел лишь три дня спустя после суда. Хвостов очень обязательно телеграфировал судебной палате, что моя неявка была уважительной. Тем не менее из Перми мне писали, что председатель судебной палаты, сенатор Кривцов, слышавший за свою борьбу с революцией «Скобелевым русского правосудия», был очень разгневан моей уже вторичной неявкой и грозился разделаться за это со мной по всей строгости законов. Поэтому, получив повестку в третий раз, а вместе с тем и письмо одного товарища, что состав палаты приехал самый «живодерский» с Кривцовым во главе, я даже не пошел за разрешением ехать, а попросил одного своего подзащитного врача признать меня больным. Тот немедленно объявил, что у меня аппендицит, и для производства операции положил меня в лечебницу Красного Креста, где врачи в числе пяти человек (в том числе—статские советники и кавалеры орденов) выдали мне свидетельство в том, что положение мое тяжело и покинуть лечебницу я не могу. Со скрежетом зубным Кривцов вынужден был еще раз отложить дело.

Наконец, весной 1910 года была получена четвертая повестка. К этому времени моя 2-летняя высылка уже окончилась, и я поехал в Пермь. На этот раз судить революционеров приехал председатель уголовного департамента судебной палаты Драверт, в свое время прославившийся на Урале жестоким преследованием раскольников и сектантов и фигурирующий в анналах «субботников» под именем «прокурора Дыроверта»; с ним приехали трое членов палаты: никому не известный Сперанский, злой старик-реакционер Бер, мстивший революционерам из-за того, что в 1905 году у него крестьяне сожгли усадьбу, и хорошо знавший меня Н. А. Тимофеев, бывший товарищ председателя Пермского окружного суда, один из гуманнейших судей с резко-выраженным прогрессивным направлением. В качестве сословных представителей явились председатель губернской земской управы, И. П. Бенедиктов, бывший мировой судья, человек с явно-либеральной окраской, тесно связанный со старыми моими товарищами-адвокатами, городской голова Юрьевский, прежде хорошо знавший меня и настроенный ко мне вполне доброжелательно, и какой-то волостной старшина, по слухам, черносотенец.

Я мог рассчитывать, что Тимофеев, Бенедиктов, Юрьевский подадут голос за оправдание меня, но был уверен, что Драверт, Бер и старшина будут за обвинение. Неизвестной величиной оставался Сперанский, а его-то голос и должен был стать решающим. Судьбе угодно было, чтобы он накануне суда заболел. Его заменил членом Пермского окружного суда С. В. Воеводским, моим старым знакомцем по гражданскому отделению суда. Относительно его можно было быть уверенным, что он будет заодно с Тимофеевым, а не с Дравертом и Бером. Я имел уже четыре голоса против тех. Исход дела для меня был предreshен и ясен.

Но, и независимо от этого, дело со стороны обвинения было обставлено чрезвычайно слабо. Мне ставилось в вину одно только преступление—произнесение на митинге в Мотовилихе 12 декабря 1905 г. речи, последствием которой была попытка вооруженного восстания и ниспровержения существующего строя (129 ст. Угол. улож.). Совершенно непонятно, почему был выделен именно этот эпизод, тогда как я произносил таких речей по две в день в течение месяца—и все в качестве члена Пермского комитета Р.С.-Д.Р.П. Обвинение было обставлено из рук вон плохо. Свидетель-пристав на митинге не был, и удостоверил лишь, что я скрылся из Перми «на Челябину». Свидетель-сыщик на митинге был, но удостоверил, что я лишь читал рабочим газету «Пермские Губернские Ведомости», а речи никакой не говорил. Таким образом и с формальной стороны обвинение хромало на обе ноги. Обвинитель, товарищ прокурора Томсон, обвинял бесстрастно, но очень искусно, отбрасывая все мелочи, все сомнения и беря лишь то, что было непровержимо. Защитником по назначению суда выступил мой ста-

рый товарищ по университету, И. С. Курочкин, присяжный поверенный, человек в высшей степени робкий, невежда в уголовном праве и процессе, путающийся в словах. Я написал ему речь, но он, по близорукости, перепутал страницы и нес что-то невообразимое. Кстати, надо заметить, что в это время в Перми были политические защитники: С. П. Вржосек, А. К. Шмит и А. Ф. Керенский (из Петербурга). Накануне я заходил к ним в номера, рассказывал, что завтра меня судят, но ни один из них не выразил желания меня защищать, и только после дела А. К. Шмит выразил мне сожаление, что он не взялся меня защищать...

После трех четвертей часа ожидания раздался звонок, и суд вышел из совещательной комнаты. По ликующему лицу Н. А. Тимофеева и по незаметному кивку головой я понял, что он взял верх. Недовольным, брюзжащим тоном Драверт прочел оправдательный приговор.

Наконец, после двенадцатилетних мытарств с меня спали последние цепи репрессий, и я стал «свободным» гражданином, за которым нет ни гласного надзора полиции, ни административной высылки, ни судебного приговора, ни подписки о невыезде и неотлучке.

\*\*

Между тем ход рабочего движения диктовал неотложную задачу—широкую массовую агитацию, рабочие требовали знаний. В целях удовлетворения этим запросам, осенью 1910 года в Вологде были открыты вечерние курсы для рабочих. Во главе этого дела официально была поставлена жена владельца типографии, Е. Д. Соколова, а работать взялась группа интеллигенции (учительницы Воронова, Шаманина, земские служащие Михайлова, Дроздова, учителя Васильев и Устинович, юристы Александров и я). Я читал лекции по праву, Александров—по политической экономии. Всем на курсах заправляли сами учащиеся, входившие в состав и педагогического и хозяйственного советов. Дело шло живо и успешно до масленицы 1911 года. На масленицу я уехал в Москву, где жила моя семья, и вдруг там получил от оставшегося в Вологде отца жены, П. Н. Поморцева, телеграмму: «Сейчас нас обыскивают жандармы».

По возвращении в Вологду я узнал, что обыски были у всего состава преподавателей курсов, что курсы закрыты и опечатаны, что у меня при обыске взято до 30 легальных книг (Горького, Короленко и др.); кроме того, отобран данный мне на сохранение, как человеку «чистому», паспорт высланного в Вологду бундовца, Р. А. Рейна (впоследствии известного меньшевика Абрамовича). Вскоре меня вызвали на допрос, на котором ротмистр Плотто и полковник Конисский, прославившийся арестом петербургского Совета Рабочих Депутатов в 1905 г., добивались узнать, с какой целью я участвовал в преподавании на курсах Соколовой, что именно преподавал. При этом Конисского особенно интриговало то обстоятельство, что одно объявление, адресованное слушателям курсов и

снятое жандармами при обыске со стены, было подписано мной... красными чернилами: в этом факте Конисский усматривал «жупел». Все это, конечно, носило только анекдотический характер, но из допроса я понял, что мы стали жертвой провокации, так как жандармам, повидимому, были известны многие детали работы на курсах, в частности—почти дословно записана моя фраза о неравенстве буржуазии и пролетариата перед законом в правовом отношении, иллюстрированном сказкой Ф. Соллогуба о больших и малых рыбах (Большая рыба хотела проглотить малую. Та запротестовала: разве, мол, мы не равны. Большая рыба согласилась с этим и предложила малой глотать ее. Как ни старалась малая проглотить большую,— не могла. «Ну, говорит, коли так,—твоя взяла: глотай меня»).

Впоследствии, когда получилась возможность доступа в жандармский архив, оказалось, что провокатором был состоявший тайным агентом охраны рабочей железнодорожных мастерских, А. Коншин (Шура), один из наиболее развитых и по виду наиболее преданных делу рабочего класса рабочих. Он был одним из организаторов и руководителей и на курсах, и в организованном впоследствии обществе «Просвещение». Он и выдал нас, как года три спустя выдал М. И. Ульянову. Тогда роль Коншина осталась невыясненной и, несмотря на возбужденные против него подозрения, партийный суд под председательством фельдшера И. Е. Ермолаева его оправдал, а обвинителю его, рабочему В. И. Мохову, вынес порицание. До революции 1917 года Коншин пользовался громадной популярностью и влиянием среди рабочих, настраивая их против интеллигенции и проводя мысль, что «освобождение рабочих должно быть делом исключительно рабочих».

Как бы то ни было, делу о курсах Соколовой был дан ход, и в конце 1911 г. было получено распоряжение, по которому все учителя и учительницы во главе с Соколовой были освобождены от всякой ответственности, а посторонние личности (я, Александров, Михайлова) были отданы под надзор полиции в месте жительства сроком на один год.

\*\*

В 1912 году были назначены выборы в 4 Государственную Думу. После ряда собраний и обсуждений вопроса о выборах, среди рабочих было решено выставить в Государственную Думу кандидата от Р.С.-Д.Р.П., и в качестве такового по Вологде рабочие наметили меня. Я дал свое согласие, и у нас закипела предвыборная работа. Начались собрания по квартирам и за городом в леску, за Богородским кладбищем. Условия агитации были в высшей степени неблагоприятны. Я не имел права выступать на собраниях и организовывать предвыборные собрания, как состоящий под надзором полиции. Типографии отказывались печатать наши воззвания и плакаты. Приходилось пользоваться всякими окольными путями. Мой помощник

(по адвокатуре), А. П. Зреляков, поехал в Ярославль, чтобы в тамошних типографиях отпечатать избирательные билеты и избирательную афишу. Таковая же была послана в Петербург, в редакцию «Правда». В Вологде из приказчиков была составлена агитационная группа.

Противники наши не дремали. Губернатор Шрамченко и епископ Антоний организовали «черную сотню» («Союз русского народа») и через урядников и земских начальников двинули на выборы всех попов епархии. Кадеты выставили очень авторитетного кандидата, бывшего члена Государственного Совета (по выборам) В. А. Кудрявого. Трудовики и с.-р., имевшие в своем распоряжении газету «Вологодский Листок», выставили своего кандидата—адвоката А. М. Виноградова.

Мы тщательно пересмотрели список избирателей и пришли к выводу, что при известных усилиях можно рассчитывать на победу в первой стадии выборов (на выборах выборщиков). Но и губернатор Шрамченко, повидимому, учел это обстоятельство, тем более, что благодаря деятельному участию А. Коншина во всех предвыборных работах он, конечно, был в курсе дела. Поэтому за несколько дней до выборов он неожиданно разделил второе городское избирательное собрание на две части. Надо сказать, что город Вологда по выборам делился на два избирательных собрания, которые должны были совершенно самостоятельно и независимо друг от друга выбирать установленное количество выборщиков (по одному): в первое собрание входили крупные домовладельцы, владельцы больших торговых и промышленных предприятий, во второе—все остальные избиратели, т.-е. мелкие домовладельцы и мелкие торговцы, ремесленники, служащие, чиновники и квартиронаниматели. Вот это-то последнее собрание, или вторая курия, и было разделено на две части: на второе собрание или вторую курию, к которой отнесены были домовладельцы, торговцы и ремесленники, и третью курию, к которой причислены были служащие, в том числе и приказчики, чиновники и квартиронаниматели. Этим достигалась очень простая предвыборная география: часть рабочих и приказчиков, имевших свои домишки, и часть ремесленников попадали во 2 курию, а остальная масса приказчиков, служащих, рабочих и квартиронанимателей—в 3 курию. Необходимо было, оставив мою кандидатуру в 3 курии, для 2-й найти другого выборщика или же совсем попустить часть наших избирателей. При громадных технических трудностях мы смогли только прокламировать кандидатом в выборщики по 2-й курии—старинного большевика, фельдшера И. Е. Ермолаева, у которого в Вологде был небольшой домик. Но обставить эту кандидатуру афишами, плакатами, воззваниями: мы уже были не в состоянии за краткостью времени.

Незадолго до выборов ночью меня разбудил шум и стук. Открывши глаза, я неожиданно увидел перед собой жандармского ротмистра



фон-Фиркста, разумеется, барона, который всю ночь рылся в моих бумагах и ушел, ничего с собою не забрав. Утром ко мне прибежал один из наших приказчиков, крайне взволнованный, и сообщил, что ночью арестована вся наша агитационная группа поголовно, кроме него, а также И. Е. Ермолаев, Ф. Чучин и решительно все другие активные участники предвыборной кампании. На воле остались только я и этот приказчик, да еще железнодорожные рабочие, которых на этот раз аресты и обыски миновали. Я уцелел от ареста, повидимому, только потому, что не участвовал ни в одном совещании ни в квартире Ермолаева, ни в лесу: каждый раз я вынужден был возвращаться с полдороги, так как за мною шло по четыре филера, и я не хотел навести их на собрание. Коншину при перечислении участников собраний приходилось донести, что я на них ни разу не бывал.

Вслед за этим А. П. Зреляков привез избирательные афиши из Ярославля. Они были расклеены по городу. Немногочисленные же избиратели поголовно были обойдены нашей агитационной группой еще до ее ареста, при чем избирателям был указан кандидат и вручены наши избирательные бюллетени.

В пылу предвыборной работы я совсем и не заметил, что мне уже в течение двух недель не приносят ни писем, ни телеграмм, хотя у меня была обширная деловая переписка. Только случайно я узнал, что моя жена послала мне из Москвы две телеграммы, и я ни одной из них не получил. Тогда для меня сразу стало ясно, что моя переписка задерживается на почте, и я немедленно же послал телеграфную жалобу министру внутренних дел на задержку моей корреспонденции в связи с выборами в 4 Государственную Думу и выставлением моей кандидатуры в выборщики. Через два дня почтальон принес мне целый ворох писем и пакетов, в том числе и письмо из редакции «Правды» с накладной на груз малой скорости (избирательные афиши, уже запоздавшие).

Оказалось, губернатор Шрамченко и жандармский полковник Конисский потребовали от начальника почтово-телеграфной конторы Равич-Щербо задержки и выдачи им всей моей переписки. Равич потребовал представить ему распоряжение министра внутренних дел о выемке моей корреспонденции, что было обязательно по закону и без чего такое мероприятие не дозволялось. Разрешения у Конисского не было, но он настаивал на своем требовании, и Равич вынужден был согласиться задержать всю мою переписку впредь до представления Конисским разрешения министра: после представления этого разрешения он обещал выдать задержанную переписку жандармам. Однако разрешения не последовало, а моя жалоба привела к увольнению Равича-Щербо и Конисского: правительство в ту пору боялось скандалов, связанных с запросами в Государственной Думе о слишком наглых случаях администра-

тивного произвола, и предпочло пожертвовать даже Конисским. Впрочем, ему была дана усиленная пенсия, так как он заявил, что страдает прогрессивным параличем...

На выборах, несмотря ни на что, мы одержали блестящую победу: я получил избирательных голосов больше, чем кандидат «черной сотни» и кадетской партии, вместе...

Обыску барона фон-Фиркста не было дано дальнейшего хода. Это была последняя моя встреча с жандармами при царском режиме. Больше меня не трогали, и только губернатор Шрамченко, при котором я был выслан из Нижнего-Новгорода, как оказалось при обследовании архивов, ежегодно ходатайствовал перед министерством внутренних дел о высылке меня в Удорский край, как личность в высшей степени опасную, но эти ходатайства систематически отклонялись: они не были подкреплены фактами и носили очень уж глупую, а главное—личную мотивировку, например, губернатор доказывал, что я—«жид», о чем он будто бы добыл материалы дознанием у меня на родине. Дознание действительно производилось, но весь собранный им материал сводился к тому, что губернатору показалось подозрительным «жидовское» отчество моего деда Николая Абрамовича.

\*\*

\*

Щедрин как-то сказал, что «память культурных людей относительно прошлого—снисходительна». Быть может, в силу этого психологического закона, в рассказ о 25-летней «неволе» у меня вкрались некоторые мягкие штрихи. Но это не может стереть печати бездонного горя и ужаса со всего пережитого, со всех насилий и издевательств, произвольных арестов, самодурных следствий, самовластных судов, высылки в гиблые места, гниения в каменных мешках самодержавия... Стоит отметить, что вся эта 25-летняя эпопея тяготела не над исключительными личностями или лицами, выдающимися особо-революционной работой, а над каждым рядовым гражданином, который попадал в цепь политической слежки, провокации и политических преследований. При этом для расправы не стеснялись использовать все: и семейные связи, и простые знакомства, и любовные отношения. Все это было подчинено одному всемогущему богу самодержавия и это подчинение осуществлялось армией судей, следователей, прокуроров, жандармов, городских, полицейских, тюремщиков, провокаторов, филеров и прочих жуликов, за медные гроши продававших свои души и своих близких...

И если все эти безмерные жертвы человеческими жизнями, кровью и слезами приносились без колебаний и со страстью, то лишь ради того светлого будущего, которое брежжило в туманной дали, когда свобода должна была воцариться на «обломках самодержавия»...

*В.л. Трапезников.*